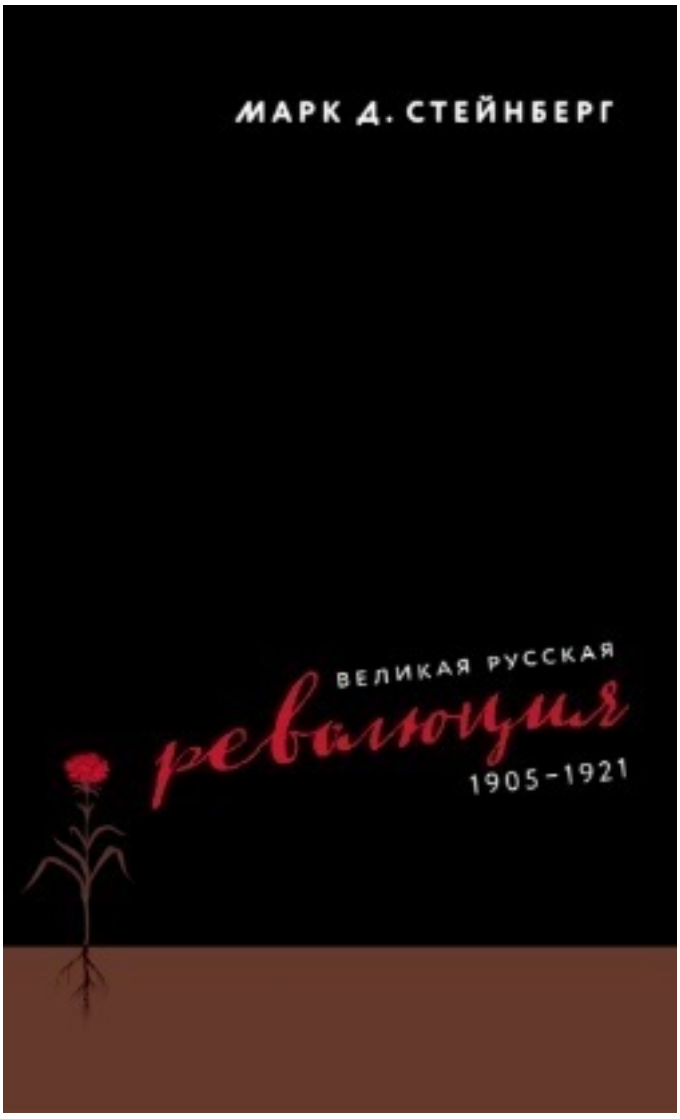
МАРК Д. СТЕЙНБЕРГ
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
революция
1905–1921

Марк Стейнберг

Великая русская революция, 1905–1921

«Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

2017

УДК 94(47).084
ББК 63.3(2)6

Стейнберг М. Д.

Великая русская революция, 1905–1921 / М. Д. Стейнберг — «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», 2017

ISBN 978-5-93255-520-0

В книге «Великая русская революция, 1905–1921» Марк Стейнберг показывает события революционной эпохи в России – начиная от Кровавого воскресенья 1905 г. и кончая последними выстрелами Гражданской войны в 1921 г. – в двойной перспективе: глазами профессионального историка, всматривающегося в прошлое, и современника-журналиста, фиксирующего и интерпретирующего историю по мере ее свершения.Автор книги, написанной как для исследователей, так и для широкого круга читателей, обращается к текстам и голосам той эпохи, стремясь оживить прошлое и наполнявшие его смыслы. Это – рассказ о времени, полном драматизма и неопределенности, и в первую очередь – рассказ о человеческих ценностях, чувствах, желаниях и разочарованиях, придающих истории значение в глазах ее очевидцев.

УДК 94(47).084
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-93255-520-0

© Стейнберг М. Д., 2017
© Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, 2017

Содержание

Предисловие к русскому изданию 6
Благодарности 8
Введение 10
Часть I 16
Глава 1 16
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Марк Д. Стейнберг
Великая русская революция, 1905-1921

Mark D. Steinberg
The Russian Revolution
1905–1921

Перевод с английского Николая Эдельмана
Под научной редакцией Михаила Гершзона

© Mark D. Steinberg 2017
"The Russian Revolution, 1905–1921" was originally published in English in 2017. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Gaidar Institute Press is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.

Книга "The Russian Revolution, 1905–1921" первоначально была опубликована на английском языке в 2017 г. Настоящий перевод публикуется по соглашению с Oxford University Press. Издательство Института Гайдара несет исключительную ответственность за настоящий перевод оригинальной работы, и Oxford University Press не несет никакой ответственности за какие бы то ни было ошибки, пропуски, неточности или двусмысленности в переводе или любой связанный с этим ущерб.
© Издательство Института Гайдара, 2018

Предисловие к русскому изданию

«Прошлое не мертво. Оно даже еще не прошлое» согласно знаменитому изречению Уильяма Фолкнера. Крупные исторические юбилеи – такие как столетие 1917 г. – бросают яркий свет на то, как мы используем сюжеты из прошлого в наших дискуссиях о политике, морали и мире – каков он есть и каким бы мы хотели его видеть. Но вместе с тем история в любой момент, к лучшему или к худшему (как правило, к худшему), может играть роль полезного объекта для выражения политических страстей и суждений и для достижения политических целей. Сейчас, летом 2017 г., когда я пишу это предисловие, молодежь на американском Юге влезает на статуи вождей Конфедерации (по большей части воздвигнутые не после Гражданской войны в качестве мемориалов, а в XX веке в качестве аргументов на тему межрасовых отношений), набрасывает на их металлические и каменные шеи веревочные петли и низвергает с пьедесталов. Что касается наследия 1917 г., украинское правительство только что заявило, что в этой стране не осталось ни одной статуи Ленина. История полна примеров того, как воздвигались и свергались памятники в честь прошлого – необязательно сделанные из камня или металла, – ибо прошлое неизменно является одной из составляющих нашей борьбы за настоящее и будущее.

Эта книга тоже полна политических страстей, нравственных оценок, интерпретаций прошлого – и представлений о возможном будущем, – но главное в ней – то, какую роль большая история сыграла в частной жизни людей того времени. Жители Российской империи в 1917 году понимали, что они переживают историческую эпоху, хотя вопрос о том, куда история ведет их, служил предметом дискуссий и даже жестоких баталий. Наша книга посвящена тому, каким образом люди воспринимали разворачивавшийся вокруг них исторический процесс. Я выражаю свое отношение к историческим событиям эпиграфами, с которых начинается вступительная глава: наблюдением Николая Бердяева (сделанным по поводу русской революции, но применимым к любым революциям и даже к истории как таковой) о том, что «читать книги по истории революции приятнее, чем переживать революции», и недовольными словами Виктора Сержа о том, что письменная история слишком часто оказывается бескровной: ей не хватает «гнева, страданий, страха и насилия» живой истории. Разумеется, центральное место в нашем осмыслении истории занимают события, причины и последствия – они наделяют ее структурой и движут ее вперед (или назад). Можно сказать, что они составляют костяк истории. Но в этой книге я попытаюсь выявить (продолжая эту метафору) плоть и кровь истории, ее разум и чувства, воплотившиеся в опыте людей прошлого во всей его полноте.

Под «опытом» я имею в виду то, что, по мнению Сержа и Бердяева, отсутствует в традиционных книгах об истории, – всю кровь и страдания, но вместе с тем и все надежды и желания. К сожалению, опыт людей, живших в прошлом, доступен нам не полностью. Мы можем лишь отыскивать его следы в дошедших до нас текстах. Но если внимательно вникнуть в слова, со всей возможной тщательностью и по возможности отбросив всякие предубеждения, они могут открыть нам многое, окажутся не настолько бескровными, чтобы не дать нам с их помощью заглянуть глубоко в жизнь людей. То, что говорили люди в то время, те слова, которые они выбирали, чтобы выразить свои переживания, идеи и чувства, – все это может открыть нам какую-то часть опыта, полученного людьми сто лет назад, причем, к лучшему или к худшему, пополнив наши знания не только о русской революции, но и о нас самих и о человечестве.

Один из уроков, который нам преподносит опыт прошлого, – имеющий отношение к опыту, получаемому нами в настоящем, – заключается в необходимости опасаться упрощений. Некоторые читатели сетовали на то, что моя книга слишком многоголосая, в ней звучит слишком много противоречивых мнений о революции, чтобы из нее можно было извлечь внятные обобщения и объяснения. По прочтении настоящей книги, вышедшей на английском в январе

2017-го, в начале занятий, мои студенты выражали недовольство тем, что из-за множества точек зрения, идей и целей, нередко полностью противоречащих друг другу, русская революция показалась им настоящим бедламом. Даже взгляды отдельных лиц были полны противоречий, особенно в отношении таких принципиальных вопросов, как смысл свободы и справедливости (вызывавших известный интерес у заключенных[1]). Со временем слушатели моих лекций начали осознавать истину, присущую этой многогранности, вызывавшей у них такое беспокойство.

Кроме того, осознание многогранности означает отказ от извлечения простых моральных уроков о том, кто в те сложные времена был носителем добра, а кто – носителем зла. Возможность разделять людей прошлого на однозначные нравственные категории, понимать, кого следует превозносить, а кого – проклинать, может быть полезна в политическом плане. Но для историка это не очень хорошее свойство. Если русская революция получает в моей книге какую-либо простую общую оценку, то она состоит в том, что эта революция носила глубоко и даже мучительно противоречивый характер. Русская революция содержала в себе сразу многое, особенно на уровне человеческого опыта: катастрофическое насилие, жестокость и угнетение и в то же время борьбу с угнетением, несправедливостью и страданиями. В число вождей революции входили циничные люди, стремившиеся к власти, и мечтатели-идеалисты, осознававшие возможность изменить мир к лучшему, причем многие из них были и теми и другими одновременно. Многогранность и противоречивость не могут быть полезными с политической точки зрения. Но зато они более близки к истине. А как было сказано, «истина сделает вас свободными».

Я очень рад тому, что моя книга будет издана в переводе на русский (при сохранении текста оригинальных цитат, за исключением особо оговоренных). Я благодарен сотрудникам Издательства Института Гайдара и переводчику Николаю Эдельману за их интерес к моей работе и проявленные ими усилия. Я не считаю свою книгу «американской» интерпретацией русской истории. Но все же она в некотором роде является интерпретацией: с точки зрения сюжетов и голосов, отобранных мной для нее, выведенных мной заключений и моей исторической методологии. Вместе с тем эта книга полна «русских» голосов – самых разных и предлагающих свои собственные интерпретации истории, разворачивавшейся в их время. Кроме того, эти голоса входят составной частью в точку зрения данной книги. Надеюсь, что эта точка зрения даст читателю нечто свежее и наводящее на мысли – ведущее к дальнейшим дискуссиям, диалогу и знаниям: касающимся революции, а также тех проблем, которые она пыталась решить.

Марк Стейнберг Урбана,
штат Иллинойс

Август 2017 г.

[1] На протяжении первой половины юбилейного 2017 года я читал курс о русской революции в мужской тюрьме штата Иллинойс. —*Прим. авт.*

Благодарности

Как и у самой истории революции, так и у истории создания этой книги глубокие корни. Идея книги возникла во время интригующего приглашения Кристофера Уилера, редактора *Oxford University Press.* Он предложил принять участие в работе над новой книжной серией, для которой требовались авторы, способные «сказать что-то свежее» о важнейших исторических событиях и темах. Эта серия была призвана донести и до людей науки, и до обычных читателей возбуждение, сопровождающее изменение наших представлений о прошлом. Я был польщен и вдохновлен предложением написать такую книгу о русской революции и благодарен К. Уилеру за это предложение.

Разумеется, любая наука стоит на плечах того опыта, который был до нас (даже если авторы тех прежних трудов частенько получают от нас легкие затрещины). Это вдвойне верно в отношении книг на такие темы, как русская революция, при создании которых невозможно не учитывать работы десятков предшествующих историков. Я попытался сказать нечто новое и свежее для того, чтобы придать характерную «окраску» данному проекту (о чем меня и просил Уилер). В то же время я постарался избежать такого стандартного способа проявить оригинальность, как критика предшественников и коллег. Я бы не написал эту книгу, если бы не было громадного корпуса существующих исследований и интерпретаций, из которого мною очень многое взято и переработано. В этом смысле примечания и библиография к моей книге могут рассматриваться как своего рода выражение признательности тем людям, которым я благодарен и перед которыми нахожусь в долгу.

В плане работы непосредственно над данной книгой мне снова вспомнилось о щедрости ученых, жертвующих частью своей собственной жизни, заполненной исследованиями, писательством, преподаванием и прочей работой, для того чтобы читать и рецензировать чужие труды (если бы нам получше платили за все наши старания!). Эта книга благодаря критике, предложениям и поддержке стала во много раз лучше и интереснее. В число этих читателей-рецензентов входили историки и литературоведы, аспиранты и независимые авторы. Первые варианты отдельных глав книги подвергались критике на семинарах, особенно в Кружке русистики (*Kruzhok)* при Иллинойсском университете и на Среднезападном семинаре по русской истории. В дальнейшем ряд лиц любезно согласились прочесть всю рукопись книги или фрагменты ее глав. Дайан Кенкер, Борис Колоницкий, Рошанна Сильвестер (а также Стив Смит как анонимный рецензент *Oxford University Press*) сделали мудрые и важные критические замечания по всей рукописи. Хизер Коулмен, Барбара Энджел, Грегори Фрейдин, Нина Гурьянова, Адиб Халид, Гарриет Марав и Кристина Воробек ознакомились с теми главами, на тематике которых они специализируются. Всем им я очень благодарен. Тем, что я не всегда принимал их полезные советы, еще раз подчеркивается, что, несмотря на вдохновлявшие меня работы многих авторов, я один несу ответственность за все, что может не понравиться и вызвать у вас возражения в данной книге.

Также мне хотелось бы поблагодарить моих аспирантов-ассистентов: Энди Бруно, Марию Кристину Гальмарини, Стивена Джага и Джесси Марри – оказавших мне колоссальную помощь. Они взяли на себя трудоемкую и непростую задачу сплошного просмотра многочисленных микрофильмованных копий русских газет. Многие проблемы, возникавшие в ходе исследований – и крупные, и мелкие, – мастерски решали, щедро делясь своим временем, талантливые библиотекари из Иллинойсского университета и Справочной службы по славистике, особенно Кристофер Кондилл и Джозеф Ленкарт. Кроме того, я благодарен сотрудникам Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, особенно Александру Сапожникову, Александру Каштанеру и их коллегам из отдела периодики, где на протяжении нескольких лет я провел много времени.

Для меня было большим удовольствием работать с сотрудниками *Oxford University Press* Кристофером Уилером, Мэтью Коттоном, Робертом Фабером и Кэтрин Стил – я благодарен всем им за их проницательность, поддержку и терпение. Кроме того, я чрезвычайно благодарен Джейн Робсон, Линде Миллер, Р. А. Марриотту и Маникандану Чандрасекарану за прекрасную работу по редактированию, вычитке гранок, составлению указателя и выпуску книги в свет.

Эта книга посвящается памяти Джейн Тейлор Хеджес (1951–2015), замечательного научного редактора, бывшей моей любимой спутницей жизни на протяжении тридцати пяти лет с лишним до тех пор, пока рак не истощил ее. Все идеи, содержащиеся в этой книге, я обсуждал с Джейн, внесшей в нее огромный вклад. Кроме того, я благодарен нашему потрясающему сыну Саше (тоже суровому рецензенту) и моим друзьям, благодаря которым я продолжаю держаться и идти дальше.

Введение
Русская революция как живой опыт

Читать книги по истории революции приятнее, чем переживать революции.
Н. А. Бердяев «Размышления о русской революции» (1923)

История, этот неслыханный обман эрудитов, в котором за печатными строчками уже не найти ни капельки крови, где ничего не осталось от гнева, страданий, страха и насилия людей!
Виктор Серж «Завоеванный город» (1932)

Эта пара цитат о русской революции и истории двух авторов, лично переживших события, – консервативного религиозного философа и левого активиста – в какой-то мере содержит в себе отсылку к главной задаче данной книги: изложить историю русской революции как *опыт*, донести до читателя то, какие мысли и чувства вызывала у людей история, которая разворачивалась у них на глазах и в которой они сами принимали участие в качестве ее многочисленных творцов. Пересказы и интерпретации истории русской революции ничуть не менее многочисленны, чем пересказы и интерпретации истории как таковой. Традиционные подходы делают акцент на причинах. Например, почему царское самодержавие потерпело крах в феврале 1917 г. и почему сменившее его либеральное правительство, продержавшись у власти лишь несколько месяцев, было низвергнуто большевиками? Традиционные ответы подчеркивают роль институтов, вождей и идеологии, подавая сам ход истории в качестве причинно-следственной структуры: предшествовавшие события определяли облик тех событий, которые шли им на смену. «Ревизионистская» социальная история, тоже успевшая стать традицией, призывает нас в поисках объяснений изучать социальные структуры и группы. При интерпретации русской революции это означает признание «углублявшейся социальной поляризации между верхами и низами русского общества» в качестве главной причины и движущей силы событий[2]. По мере того как социальная история перерождалась в новую культурную историю, историки стали уделять больше внимания сложному и неуловимому миру ментальностей и позиций, скрывающемуся за событиями, структурами и идеологиями: «дискурсу» – словам, образам, символам, ритуалам и мифам, – который не только дает представление о позициях, но и определяет способность людей понимать свой мир и действовать в нем[3].

«Опыт» сталкивается с традицией и новшествами, когда мы задаемся вопросом, что прошлое значило для людей, живших в то время. Определение опыта служит предметом обширных дискуссий. Одно из наиболее удачных определений предложил историк Мартин Джей: опыт – это наш внутренний диалог с окружающим нас миром, столкновение личности с тем, что существует вне ее, и в первую очередь «столкновение с иным», способное изменить нас

[2] Ronald Grigor Suny, “Revision and Retreat in the Historiography of 1917: Social History and its Critics,” *Russian Review*, 53/2 (April 1994): 167.

[3] См.: Ronald Grigor Suny, “Toward a Social History of the October Revolution,” *American Historical Review,* 88/1 (February 1983): 31–52; Suny, “Revision and Retreat”; Steve Smith, “Writing the History of the Russian Revolution After the Fall of Communism,” *Europe-Asia Studies,* 46/4 (1994): 563–78; Edward Acton, “The Revolution and its Historians,” in Edward Acton, Vladimir Cherniaev, and William Rosenberg (eds), *Critical Companion to the Russian Revolution* (Bloomington, IN, 1997), 3–17; Mark D. Steinberg, *Voices of Revolution, 1917* (New Haven, 2001), 1–35; Sheila Fitzpatrick, *The Russian Revolution,* 3rd edn (Oxford, 2008), 4–13; S. A. Smith, “The Historiography of the Russian Revolution 100 Years On” и Boris I. Kolonitskii, “On Studying the 1917 Revolution: Autobiographical Confessions and Historiographical Predictions,” *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 16/4 (Fall 2015): 733–68.

непредсказуемым образом[4]. Другие авторы в большинстве своем определяют опыт как зрелые и развитые знания о мире (в противоположность «неискушенности»)[5] или как истинные знания по сравнению с теми, которые навязываются и диктуются такими авторитетами, как идеология или религия. Позднейшие определения носят более скептический характер, призывая не поддаваться искушению превозносить опыт в качестве безыскусной, подлинной, неопосредованной правды о реальности. Согласно знаменитому изречению историка Джоан Скотт опыт «всегда уже содержит в себе интерпретацию»[6]. Разумеется, опыт прошедших времен вдвойне трудно интерпретировать, поскольку его доступность для нас ограничена и задается дошедшими до нас свидетельствами. На наши знания о прошлом и его интерпретации неизбежно влияют знание самого прошлого о себе и его понимание самого себя. При всем желании историков добраться до утопической основы подлинного опыта, полученного в прошлом, мы понимаем (или должны понимать), что она (основа) недоступна. Пусть на этом пути нас ждет много открытий, нам никогда не дойти до окончательной «истины».

Историк, идущий этим путем, ищет ответы на старые вопросы и причины для того, чтобы задаваться новыми вопросами, в «архивах» (всех свидетельствах о прошлом). Каждому студенту внушают, что «первичные источники» (документы, созданные в течение изучаемого периода) предпочтительнее вторичных источников, будучи более непосредственными отражениями самого прошлого. Разумеется, такой подход содержит столько же научности, сколько благих пожеланий. Мы стремимся к чему-то, близкому к непосредственной встрече с живым прошлым (многие историки буквально мечтают об этом), и выясняем, что первичные документы доносят до нас этот опыт в максимально возможном объеме, особенно если мы проявляем внимательность и непредвзятость при чтении текстов и достаточно хорошо знакомы с историческим контекстом. Но все же большинство историков понимает, что нам приходится работать не более чем с отголосками и интерпретациями. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы не купиться на видимость непосредственности и простодушия в голосах документов. Мы пытаемся не забывать о влиянии интерпретаций, от которых не свободны свидетельства, оставленные очевидцами, и помнить о социальных, культурных и политических силах, оставивших свой отпечаток на том, что они думали и что говорили, и на том, чего они не сказали и не могли сказать. Мы пробуем расслышать то, что отсутствует или молчит. Мы стараемся иметь в виду, что от нас может быть скрыт тот смысл, который в то время вкладывали в свои слова их авторы. Вместе с тем мы обычно не доверяем заявлению, более распространенному в литературоведении, о том, что любые тексты настолько нагружены намерениями, притворством, умолчаниями и тайнами, что лишь самый скептически и критически настроенный интерпретатор в состоянии представить себе, что может в них скрываться. Многие историки (по крайней мере, этому подходу отдаю предпочтение и я) изучают свидетельства пережитого опыта, попеременно испытывая то доверие, то скепсис, погружаясь в факты биографии людей и прислушиваясь к их голосам и в то же время подвергая сомнению уже звучащие в них интерпретации событий[7].

Одним из источников, наиболее часто используемых в этой книге, служат газеты. Великий эссеист Вальтер Беньямин, в 1930-х годах пытавшийся создать новую разновидность истории современности, пытался объяснить свой подход словами о том, что «для постижения сущности истории достаточно сравнить Геродота с утренней газетой»[8]. В основе этого сравне-

---

[4] Martin Jay, *Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme* (Berkeley, CA, 2005), 401-9.

[5] Это противопоставление восходит как минимум к «Песням невинности и опыта» Уильяма Блейка (1789).

[6] Joan Scott, “The Evidence of Experience,” *Critical Inquiry,* 17 (Summer 1991): 797.

[7] См.: E.H.Carr, *What is History*? (London 1961); Joyce Appleby, Lynn Hunt, and Margaret Jacob, *Telling the Truth about History* (New York, 1994); Richard Evans, *In Defense of History* (New York, 1999); Lynn Hunt and Victoria Bonnell, *Beyond the Cultural Turn* (Berkeley, CA, 1999); Charles Megill, *Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice* (Chicago, 2007); Lynn Hunt, *Writing History in the Global Era* (New York, 2014).

[8] Walter Benjamin, “Paris, Capital of the Nineteenth Century: Exposé [1939],” in Walter Benjamin, *The Arcades Project*, tr.

ния лежат два слова, которыми в немецком языке обозначается «опыт»: *Erfahrung* и *Erlebnis*. *Erfahrung* — это вразумительный и непрерывный опыт, итог процесса упорядочения фактов, «путь» (*Fahrt*), составляющий этимологическое ядро данного слова. *Erlebnis* — опыт, носящий более непосредственный и частный характер, более близкий к повседневной «жизни» (*Leben*), и поэтому это слово нередко переводится как «пережитое»[9]. На первый взгляд *Erfahrung*-опыт представляет собой поле профессионального историка, ведущего связный, продуманный и однонаправленный рассказ об историческом процессе, в то время как *Erlebnis*-опыт – вотчина газетного репортера, повествующего об исторических событиях во всей их свежести, неприглаженности и неупорядоченности. В глазах историка, изучающего опыт, газета как будто бы переносит нас прямо в прошлое, донося до нас живой исторический опыт, еще не переписанный ради его приведения в соответствие с каноном «истории».

Должен признаться в соблазне этого идеала. Меня издавна тянуло к газетам как к историческому источнику, и это нашло отражение в настоящей книге. Но я стараюсь не быть наивным, поскольку таковыми, конечно же, не были авторы газетных заметок. Журналисты понимали, что сюжеты их корреспонденций прошли через фильтр недостаточного количества фактов, ненадежных или лживых свидетельских показаний, а также их собственных предпочтений и поставленных перед ними задач. У них были сюжеты, требующие освещения, и поводы для их освещения – от необходимости сбывать тираж газеты до стремления поддержать то или иное политическое начинание, – а русским журналистам в придачу к этому приходилось считаться с бременем государственной цензуры. Вообще говоря, некоторые журналисты утверждали, что газета – всего лишь зеркало, отражающее жизнь такой, какая она есть[10]. Но большинство из них понимало, что газета – отнюдь не только зеркало, так же как большинство современных историков признает, что история – отнюдь не простой рассказ о том, «как все было на самом деле» (это знаменитое определение исторического факта дал в XIX в. Леопольд фон Ранке). Русские журналисты – даже работавшие на массовые газеты, читатели которых, как считалось, искали развлечения в виде самых сенсационных историй, – в то же время считали себя серьезными толкователями текущих событий и даже моральными свидетелями эпохи – ставя объективность на второе место после комментариев и суждений. Для журналиста, как и для историка, главное и самое сложное состоит в том, чтобы привести в соответствие друг с другом повседневные новости и протяженную перспективу, исторический опыт как непосредственное присутствие при событиях прошлого и чувство существования в потоке времени, наделенном смыслом в силу его роли как связующего звена между настоящим, прошлым и будущим. Это особенно необходимо в тех случаях, когда цель, как в данной книге, состоит в том, чтобы выяснить, каким образом люди прошлого – и не только те или иные классы и категории людей и тем более не «народ» как воображаемое национальное целое, но и конкретные личности в конкретные времена и в конкретных местах— пытались понять ту историю, участниками которой они были, интерпретировать ее и оказывать на нее влияние.

Во многих сюжетах и голосах, звучащих в этой книге, просматриваются следующие крупные темы:

• Человек («я», индивидуум, личность) как действующий субъект истории, но в то же время и как ценность, которую люди стремились насаждать и защищать.

• Неравенство, особенно связанное с социальными, экономическими, гендерными и этническими различиями.

• Власть и противодействие ей, в том числе выражаемое и ощущаемое через насилие.

Howard Eiland and Kevin McLaughlin (Cambridge, MA, 1999), 14.

[9] См.: Jay, *Songs of Experience,* 11–12, 224–9, 340–1, и passim.

[10] О. Гридина. Зеркало не виновато // *Газета-копейка*. 31.10.1910. С. 3.

• История как опыт существования в потоке времени, особенно испытываемое людьми прошлого ощущение того, что они живут в «историческую» эпоху.

• И наконец, возможно, самая важная тема, поскольку мы говорим о революции: каким образом люди понимали «свободу», жили с ней и использовали ее на практике – что, возможно, даст нам ответ на все предыдущие вопросы.

Эти темы задают структуру настоящей книги. Часть I, «Документы и сюжеты», посвящена рассмотрению ряда типичных и выразительных первичных текстов, что позволяет вывести на передний план сами источники, вопреки традиционным принципам исторического повествования[11]. Я выбрал эти документы не столько в силу их «типичности» (это недостижимая цель), сколько в силу их *показательности*: потому что они рассказывают нам о том, как люди пытались извлечь смысл из своего революционного опыта как в интеллектуальном, так и в эмоциональном плане. Я ставлю в центр внимания лишь один драматический момент этих событий: «весну свободы» 1917 г. Кроме того, я делаю упор лишь на одном вопросе, ответ на который вечно ускользает от нас: вопросе о смысле «свободы». Главная идея этой главы (в смысле развернутой метафоры, управляющей текстом) состоит в воображаемой возможности пройтись по революционным улицам и спросить у людей, какие мысли и чувства вызывает у них опыт революции и свободы.

Часть II, «События», представляет собой хронологический рассказ о всем данном периоде, не лишенный, однако, своеобразия. Здесь будут упомянуты все традиционно выделяемые этапы революции – от Кровавого воскресенья в 1905 г. до последних выстрелов Гражданской войны в 1921 г. Будут затронуты и знакомые проблемы интерпретации. Смогли ли реформы 1905–1906 гг. вывести Россию на путь, позволявший избежать новой революции? Как сказалась на судьбе самодержавия Первая мировая война? Почему демократическое Временное правительство, в феврале 1917 г. пришедшее на смену самодержавию, так быстро утратило поддержку? Каким образом большевики пришли к власти и вопреки всему сумели ее удержать? Однако эти события, тенденции и объяснения рассматриваются одновременно с точки зрения профессионального историка, оглядывающегося в прошлое, и с точки зрения журналиста-современника, описывающего и интерпретирующего историю по мере ее течения. Историк использует принцип ретроспективного и связного изложения, основанного на имеющихся фактах и современных научных интерпретациях: на том, что, по мнению большинства нынешних профессиональных историков, произошло, что имело значение и почему это было так. Принцип, применявшийся журналистами, был несколько иным, по крайней мере на первый взгляд: согласно знаменитому определению они были «историками в настоящем времени», «фиксировавшими и интерпретировавшими историю в момент ее свершения»[12].

Впрочем, оба эти нарративных подхода – всего лишь рассказы о рассказах. Нашей человеческой натуре свойственно рассказывать и с удовольствием выслушивать чужие рассказы, а исторические рассказы относятся к числу наиболее интересных для читателя. Поскольку прошлое, как и настоящее, сплошь и рядом предстает перед нами в беспорядочном, несвязном виде, мы стремимся превратить его в «историю», располагая его разрозненные фрагменты в том или ином осмысленном порядке, закрывая глаза на многочисленные провалы в наших знаниях и понимании тех событий, выделяя взаимосвязи и закономерности, особенно в плане

[11] Кристофер Уилер, редактор из *Oxford University Press*, составивший план серии «Оксфордские истории», предложил, чтобы книги из этой серии начинались с «ключевого документа (или, может быть, нескольких документов) как резко сфокусированной встречи с темой книги и своеобразного обрамления дальнейшего текста. Суть в том, чтобы привлечь внимание читателей к какому-либо поразительному архивному документу, ярко показывающему значение данной темы и раскрывающему целый диапазон аналитических возможностей – как знакомыми, так и неожиданными и даже жутковатыми способами». Выражаю ему благодарность за эту идею.

[12] "Lauds Journalists as True Historians," *New York Times*, 19.12.1930 (выступление Джона Финли, заместителя редактора *New York Times).*

причинно-следственных связей между событиями и прошлым, а также того, как они формируют грядущее (согласно определению истории как изменений, происходящих с течением времени), и посредством всего этого заостряя свое внимание на том, что мы считаем истинным и важным в соответствии с предпочитаемыми нами критериями. Как журналисты-очевидцы, так и современные историки сталкиваются с одними и теми же проблемами: показания свидетелей нередко недостоверны, факты страдают неполнотой, на понимание событий журналистами и историками влияют как их личный опыт и ценности, так и опыт и ценности их информантов; наконец, немаловажно и то, что и тем и другим приходится выбирать из сумбура повседневной жизни то, что, по их мнению, наиболее существенно.

Часть III, «Места и люди», посвящена истории конкретных социальных пространств и точек зрения на протяжении всего рассматриваемого периода. Первое из этих мест (глава 5) – город и в первую очередь «улица» как географический объект и как символ. Практически для любой революции характерно то, что улица становится эпицентром публичных действий и политических смыслов, превращаясь в осязаемое социальное и политическое пространство для совершения поступков и в символ «толпы» и всего вышедшего из-под контроля. Русская улица служила территорией риска и развлечений, преступности и насилия, а также блужданий, открытий и новых запретных удовольствий. Кроме того, улица являлась пространством истории, местом для того, чтобы бросать вызов устоявшемуся порядку и демонстрировать веру в иную реальность. Не в последнюю очередь улица представляла собой и сердце демократии: то место, где люди, особенно «демократия» (так в России называли растущий класс обделенных привилегиями), добивались признания и приобщения к событиям, где они ощущали на себе и творили историю.

Темой главы 6 служит деревня, игравшая столь важную роль в стране, где большинство принадлежало к крестьянскому сословию. Но вместо того, чтобы допускать (как мы обычно делаем, описывая исторический процесс), что свидетельства о пережитом и совершенном *мужчинами* (вообще говоря, других свидетельств у нас почти нет) передают пережитое не только мужчинами, но и женщинами, я обращаюсь к тому, как видели революцию деревенские женщины, и задаюсь вопросом о том, каким образом женский опыт, особенно опыт несходства и неравенства, может разрушить наши допущения, напомнить нам о разнообразии «крестьянского» опыта и позиций и заставить нас по-иному взглянуть на историю крестьянской революции.

В главе 7 рассматриваются пространства империи. В России одни могли видеть в национальных и этнических различиях источник восхищения, другие могли смириться с их существованием, а третьи могли воспринимать их как угрозу и проблему, требующую решения. История этих различий – это история неравенства, ограничений, предрассудков и насилия, но в то же время и история торга, возможностей и созидания. По причине огромного разнообразия опыта имперского существования, полученного в годы революции, я воздержусь от широкого обзора и от отбора нескольких групп с «типичной» историей и вместо этого покажу, каким образом сталкивались с существованием различий, решали эту проблему и принимали участие в демонтаже Российской империи три человека: среднеазиатский исламский активист Махмуд Ходжа Бехбуди, украинский писатель и политический лидер Владимир Винниченко и загадочный еврейский писатель Исаак Бабель.

В последней главе мы рассмотрим еще одну троицу бунтарей: радикальную феминистку Александру Коллонтай, профессионального революционера Льва Троцкого и поэта-футуриста Владимира Маяковского. Все трое посвятили свою жизнь революции и принимали активное участие в строительстве нового общества, о котором мечтали, особенно после того, как к власти пришла их партия – партия большевиков. Я называю их «утопистами», несмотря на то что сами они решительно возражали против такого определения, так как я использую это понятие не в обычном (для них) пренебрежительном смысле, как указание на несбыточные мечты о

совершенстве, созданном из ничего, кроме воображения, фантазии и желаний. *Я* имею в виду определение утопии скорее как критического отрицания того, что просто *есть*, во имя того, что *должно быть*, как радикального вызова традиционным представлениям о том, что возможно и невозможно в настоящий момент, как такого взгляда на время и историю, который усматривает в них возможность мгновенного «прыжка» (согласно знаменитому марксистскому выражению) «из царства необходимости в царство свободы». Вообще говоря, их утопические побуждения сталкивались с суровыми реалиями текущего момента и тяжелым грузом повседневности. Но я предпочитаю завершить эту книгу – так как это дает более яркое представление об истории революции, какой она воспринималась в то время, – их ранними смелыми надеждами, а вовсе не их поздними трагедиями и разочарованиями.

Интерпретацией является и сама по себе хронология. В книгах о русской революции ее пределы определяются как промежуток от февраля до октября 1917 г. (от демонстраций и мятежей, завершившихся свержением царской власти, до восстания, приведшего большевиков к власти), как 1917–1918 (до Гражданской войны), как 1917–1921 (включая Гражданскую войну), как 1917–1929 (до сталинского «великого перелома»), как 1917–1938 (до окончания «большого террора»), как 1914–1921 (в сущности, от начала одной до конца другой войны), как 1891–1924 (от первого «революционного кризиса» до смерти Ленина) и иными способами[13]. Каждый из этих вариантов – уже сам по себе аргумент в отношении истории, революции и того, как то и другое воспринималось в России. В моей книге рассматривается период с 1905 по 1921 год как эпоха взаимосвязанных кризисов, потрясений, радикальных перемен и возможностей. Разумеется, при этом я задаюсь вопросом о том, что все это означало для людей, живших в то время, какими *им* виделись эти связи и разрывы.

Те слова, которые выбирают современники, чтобы рассказать о своем опыте, уже в какой-то мере задают диапазон возможных ответов. Многие люди согласились бы с неизвестной старухой, которая в 1918 г. остановила на улице Ивана Бунина и заявила: «Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!»[14] Другие вспоминали 1905 год как «генеральную репетицию» (знаменитые слова Ленина) и первый бой, а к прошедшим с тех пор годам относились как к времени, ушедшему на то, чтобы подготовиться и организоваться. А третьи описывали нечто гораздо менее определенное: ощущение того, что эти годы были «смутным временем», периодом «катастрофы», «неуверенности», «замешательства», «нестабильности», «неопределенности» и «неприкаянности», но в то же время и периодом «героизма», «надежды», «света», «спасения» и «возрождения». Такой набор интерпретаций не отличался постоянством даже в тех случаях, когда речь шла о конкретных людях: одни суждения и настроения могли сменяться другими. Никакая интерпретация и никакая эмоция не могли служить достаточным объяснением. Не могут они служить достаточным объяснением и для нас, всматривающихся в то время.

[13] Хронологические определения «революции», приводящиеся у разных авторов, обосновываются многими из них. См., например: Fitzpatrick, *The Russian Revolution,* 1–4. См. также выборку исторических работ в библиографии.

[14] И. А. Бунин. Окаянные дни. М., 2013. С. 4.

Часть I
Документы и сюжеты

Глава 1
Весна свободы: прогулка в прошлое

Всякая современная революция – это настоящая словесная вакханалия. Бесси Битти, репортер *The San Francisco Bulletin*, прибыв в начале июня 1917 г. в российскую столицу Петроград (германоязычное название столицы, Санкт-Петербург, было патриотично изменено после начала мировой войны), увидела, что все улицы и площади около вокзала заполнены толпами людей, оглашавшими воздух разговорами: «Студенты, крестьяне, солдаты, рабочие изливали в ночь водопады слов». Когда она осведомилась, что делают все эти люди – «уж не случилась ли еще одна революция?» – ей ответили: «Ничего не делают. Просто разговаривают. Это продолжается еще с марта… Они говорят и днем, и ночью, не умолкая ни на миг»[15]. Редакторы одной из ведущих российских газет отмечали то же самое в начале осени, хотя уже без такого же наивного восхищения: «В России нет власти, нет законности, нет политических действий, но зато обилие политических слов»[16].

Революция в самом деле выпустила на волю потоки слов, за которыми стояли попытки людей осмыслить эти исторические дни. О революции говорили на улицах и площадях, на заводах и в селах, в солдатских казармах, в трамваях и поездах, в кабаках, не говоря уже о митингах, проводившихся различными группировками. Значительная часть сказанного тогда навсегда утрачена. Но многое попало в газеты, брошюры, листовки, плакаты и прочие образчики печатного слова, хлынувшие из типографских станков, избавленных от оков цензуры, и передававшиеся из рук в руки, порождая при этом новые слова, включавшие растущую гору резолюций, воззваний и заявлений, принимавшихся на митингах. Слова превратились в характерную черту общественной жизни и главный механизм практической политики. Этот механизм, сетовали многие, часто подменял реальные действия. Политические теоретики указывали, что оживленная «общественная сфера» – социальное пространство для объединения в коллективы и свободного обмена мнениями по вопросам, волнующим общество, – необходима для развития «гражданского общества», представлявшего собой принципиальную основу демократического общества. Россия после свержения монархии превратилась в республику слов. Среди этих слов преобладало слово «свобода», не в последнюю очередь вследствие своей способности уловить и выразить – как в идейном, так и в эмоциональном плане – смысл этих неожиданных и драматических событий. Мария Покровская, возможно, самая выдающаяся представительница либерального феминизма в России тех лет, сформулировала это простыми и характерными словами: «Россия неожиданно перевернула новую страницу в своей истории и написала на ней: „Свобода!“»[17]

То, что осталось от этого словесного потопа, составляет архив историка, к которому я обращусь в этой главе, вывернув наизнанку традиционный способ работы историков с документами. Обычно мы выстраиваем тщательно продуманное изложение и аргументацию, опи-

---

[15] Bessie Beatty, *The Red Heart of Russia* (New York, 1918), 8. Этот словесный потоп поразил и Джона Рида, еще одного американского журналиста, прибывшего тем летом в Россию. См.: Джон Рид. 10 *дней, которые потрясли мир* (М., 1957), 36.

[16] Политика и экономика//*Русские ведомости.* 19.09 (2.10).1917. С.3.

[17] *Женский вестник*. 3.03.1917. С. 1. Цит. по: Rochelle Goldberg Ruthchild, *Equality and Revolution: Women's Rights in the Russian Empire, 1905–1917* (Pittsburgh, PA, 2010), 223.

раясь на большой корпус фактов, в качестве доказательств и иллюстраций приводя в цитатах и примечаниях существенные фрагменты из первичных источников. В этой главе, как и в других книгах из серии «Оксфордские истории», слово получат сами документы. Этот подход не обязательно более «правдив» по сравнению с теми случаями, когда изложение диктуется интерпретацией, избранной историком. Как я уже отмечал во введении, большинство историков с досадой осознает, что архив первичных источников уже является плодом интерпретаций: его содержание может быть продиктовано условностями газетных корреспонденций или языка, используемого в резолюциях, стремлением угодить аудитории, политическими ценностями и задачами и не в последнюю очередь представлениями авторов этих источников о том, что важно и что неважно. Историки, отбирая в архиве те или иные материалы, подвергают его дальнейшей фильтрации. С учетом подхода, описанного мной во введении, читатель не удивится, когда я раскрою свои карты: документы, приведенные в этой главе, отобраны из многих тысяч, прочтенных мной, не потому, что они типичны (этот идеал в любом случае иллюзорен), а потому, что они *показательны*: эти документы говорят нам, каким образом люди пытались осмыслить пережитое ими как в интеллектуальном, так и в эмоциональном плане.

Отбирая документы, иллюстрирующие историю революции, я мог бы дать слово одному-единственному персонажу – скажем, такому творцу истории, как Ленин, или более скромной личности, какому-нибудь простому рабочему, участвовавшему в исторических событиях на низовом уровне. Главные события данной эпохи: Кровавое воскресенье 1905 г., Октябрьский манифест и новые Основные законы, в 1905 и 1906 гг. положившие начало полуконституционной монархии, начало того, что выльется в опустошительную войну летом 1914 г., демонстрации, забастовки и мятежи в феврале 1917-го, завершившиеся свержением царского правительства, создание Временного правительства из представителей либеральной элиты наряду с возникновением Совета рабочих и солдатских депутатов во главе с социалистами, свержение Временного правительства от имени Совета, осуществленное большевистским крылом Российской социал-демократической рабочей партии, и новые бедствия, вызванные Гражданской войной.

Вместо этого в данной главе будет приведено несколько точек зрения на один из ключевых моментов истории – причем такой, который скорее является не событием, а последствием событий: речь идет о «весне свободы» в 1917 г. Представьте себе, что мы можем ходить по улицам в эти первые месяцы революции: присутствовать на демонстрациях и митингах, слушать речи, говорить с людьми в публичных местах или у них на работе, а также читать все, что нам попадется. Но самое главное – представьте себе, что мы можем спрашивать у людей, как они понимают великую, всеохватную и в то же время смутную идею, по всеобщему мнению служащую определением революции: «свободу». Сделать это нам поможет то, что осталось от этого потопа слов – включая репортажи русских журналистов, в самом деле ходивших по улицам, слушавших и записывавших, пытавшихся уловить то, что значили для людей свобода и революция, и в то же время внушить читателю собственное мнение по поводу того, что они должны были значить.

Весна издавна служила метафорой, связанной с политической борьбой за свободу – по крайней мере, начиная с европейской «весны народов» 1848 г. и кончая такими недавними революционными событиями, как «арабская весна». Политическая сила этой метафоры основывается на физических явлениях, происходящих весной, когда солнце светит все ярче, холода отступают, сходит снег и природа пробуждается после зимнего сна. Кроме того, в христианской культуре эта метафора опирается на ассоциации с Пасхой, священным праздником возрождения и спасения. В России о политической «весне» впервые заговорили в 1904 г., хотя речь тогда шла о либеральных реформах сверху, а не о революции снизу. В последние десятилетия царского режима русские художники и писатели – и в первую очередь Игорь Стравинский в своем балете 1913 г. «Весна священная» – неоднократно обращались к теме весны,

исследуя метафорический конец тьмы и холода, драматическое пробуждение и перспективы новой, счастливой жизни.

После внезапного краха, постигшего самодержавие в марте 1917 г., слово «свобода» было объявлено лозунгом революции и стало ассоциироваться с лавиной смыслов, уже порожденных долгой историей русской политической оппозиции: концом принуждения, освобождением индивидуума, давшим ему (а в некоторых случаях и ей) возможность полностью реализовать свой человеческий потенциал, возникновением жизненно важной публичной сферы, обеспечивающей участие в политических и гражданских делах. Свобода нередко связывалась с эмоциями: удовольствием и счастьем или, по крайней мере, их ожиданием, чувством существования в эру чудес, ощущением невероятного спасения, пришедшего в разгар неслыханных катастроф, потерь и разрушений. Как мы увидим, это осложнялось конфликтами, заложенными в тех смыслах «свободы», которые буквально составляли часть языка: присутствующим в русском языке различием между «свободой» и «волей», хотя в жизни это различие не так заметно, как в словарях. Авторитетные русские словари объясняют, чрезмерно упрощая ситуацию, что «воля» – это свобода индивидуума, духа, их способность поступать по своему желанию, «свобода» же как таковая связана с социальными отношениями, группами и законами, которые освобождают человека и в то же время защищают его. Иными словами, «воля» определяется как отсутствие ограничений, ассоциируясь в русской культуре и истории с открытыми степными пространствами, бунтарями и разбойниками: воля – это свобода в ее наиболее крайних, хотя и далеко не всегда дружелюбных или милосердных проявлениях. Собственно же «свобода», согласно этому толкованию, представляет собой удовлетворение своих желаний, потребностей и интересов с учетом свободы других людей. В России XIX века идея «свободы» ассоциировалась с историей европейской политической борьбы, особенно с первым компонентом знаменитой троицы «свобода, равенство и братство» [18]. Для низших классов «свобода» была менее знакомым понятием, чем «воля», хотя и становилась все более популярной в 1917 г. – возможно, именно в силу того, что это слово было менее знакомым или понятным и потому отличалось открытостью, вполне отвечавшей новым ощущениям, идеям и желаниям.

Своеобразие этих смыслов «свободы» в русском языке не следует преувеличивать. Русские не были исключены из европейских и глобальных дискуссий о значении свободы и воли. Например, в 1917 г. даже на улицах и в многотиражных газетах можно было расслышать все тот же конфликт между тем, что называлось «вредной» волей и «полезной» свободой: между свободой как освобождением от всяких ограничений и свободой как возможностью справедливости, между свободой, открывающей перед индивидуумом возможность достижения счастья, и свободой, гарантирующей условия для счастья, между внутренней свободой и свободой, полностью реализованной в политической и общественной жизни[19]. Кроме того, в повседневной жизни мы можем услышать революционные отголоски определения свободы как маловероятного чуда, которое покончит с суровыми реалиями повседневной материальной жизни, деспотическими социальными и политическими структурами и даже с пределами человеческих возможностей. Впоследствии Ханна Арендт определяла подобную свободу как радикальное «новое начало», «невероятное чудо», «бесконечно малую вероятность», которая тем не менее неизбежна, ибо такова природа человеческого существования, само возникновение которого имело бесконечно малую вероятность. Поэтому, – указывает она, – нет ничего неестественного и нереалистичного в том, что люди «ждут непредвиденного и непредсказуемого, что они готовятся к „чудесам“ в сфере политики и ожидают их», несмотря на то что на весах реальности

[18] Svetlana Boym, *Another Freedom: The Alternative History of an Idea* (Chicago, 2010), 78-9. См. также наиболее авторитетные и влиятельные из русских толковых словарей: словарь Владимира Даля и словарь Дмитрия Ушакова.

[19] Наиболее влиятельными работами, в которых разбираются эти различия и противоречия, являются: Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” (1958), in Berlin, *Four Essays on Liberty* (New York, 1990), и Hannah Arendt, “What is Freedom?” (1958), in Arendt, *Between Past and Future* (New York, 2006).

«перевешивает катастрофа»[20]. Еще раньше, в разгар Второй мировой войны, Вальтер Беньямин, друживший с Арендт, тоже говорил, что история человечества движется к «катастрофе», но утверждал, что в силу самой своей природы она содержит в себе хотя бы ничтожно малую возможность избавления, искупления и спасения – чудесного нового начала, «весны»[21]. Революции представляют собой одно из сильнейших в истории выражений этого желания, мечты и возможности. Как выразился Беньямин, революции взрывают «континуум истории» – стабильное течение времени, при котором нарождающееся будущее настолько зависит от настоящего, что изменения могут быть лишь постепенными и основаны на том, что *есть*, а не на том, что могло бы быть, – и позволяют человечеству совершить «прыжок под вольным небом истории» *(Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte*): речь идет об истории как радикальной возможности[22]. Или, согласно знаменитому выражению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, использовавших ту же метафору, революция – это «скачок человечества из царства необходимости в царство свободы»[23].

Но достаточно голой теории: настало время прогуляться по революционным улицам.

1

Если бы мы прибыли в Россию в первые дни нового 1917 г. и раскрыли местную газету, чтобы сориентироваться в текущих событиях и настроениях, то столкнулись бы со знакомой нам традицией: новогодними размышлениями о том, что старое уходит и приходит новое, о повседневной поступи истории. В начале 1917 г., когда шел уже третий год войны и экономического кризиса, никто не мог себе представить, что до революции осталось всего несколько недель. Напротив, всем казалось, что ничего не изменится – по крайней мере, не изменится к лучшему. Если бы нам попался номер популярной петроградской «Газеты-копейки» от 1 января, мы бы наверняка обратили внимание на риторический вопрос редактора о том, почему мы празднуем приход нового года в полночь, среди ночной тьмы. Потому что, – отвечал редактор, – нам стыдно. «Нам стыдно за прошлое, стыдно за наше безучастие и равнодушие к жизни текущей – и только, как бы в самооправдание, мы кричим о более лучшем, о более светлом. А лучшее ушло, уходит, мы же становимся хуже и хуже»[24]. Авторы других передовиц были настроены более оптимистично или отказывались поддаваться разочарованию, утверждая, что люди должны сохранять надежду – хотя бы по той причине, что русские люди перенесли уже столько страданий. Например, если бы мы были в Москве, то наше внимание могла бы привлечь следующая новогодняя передовица в «Ежедневной газете-копейке», такой же массовой газете, озаглавленная «В 1917 году» и написанная постоянным колумнистом П. Борчевским (о котором мы не знаем ничего, кроме имени, которым он подписывал свои материалы). Он предлагал следующую интерпретацию традиционного русского новогоднего поздравления «С новым годом, с новым счастьем!»:

> Поверьте, что без всякого самообольщения мы имеем полное право ждать от нового года непременного счастья. И это счастье придет!..

---

[20] Arendt, “What is Freedom?” 165-9.

[21] В. Беньямин. О понятии истории (1940)//Беньямин. Учение о подобии. М., 2012. С. 237–250; Michael Lowy, *Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s ‘On the Concept of History’* (London, 2005).

[22] Беньямин. О понятии истории. Особ. с. 246 и 249 (тезисы XIV и A). См. также: Löwy, *Fire Alarm*, 87–9, 99–102.

[23] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Отдел третий (Социализм). II (Очерк теории)//К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*. 2-е изд. Т. 20. М., 1961. С. 295- Аналогичную аргументацию можно найти в: К. Маркс. Капитал. Кн.3. Гл. 48//К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*. Т. 25. Ч. II. М., 1962. С. 385–387. См. также: Andrzej Walicki, *Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia* (Stanford, CA, 1995).

[24] М. Городецкий. На Новый год // *Газета-копейка*. 1.01.1917. С. 3.

> Оно будет заключаться в перемене и в том или ином разрешении событий, которые сейчас сгрудились, напряглись, затянулись мертвым узлом…

Аргумент о необходимости надежды, веры в то, что доверие к будущему в конце концов оправдается, стал общим местом в новогодних передовицах. Но это была скорее просьба, чем аргумент, изъявление веры, основанное в большей мере на усталости от безнадежности, чем на уверенности в грядущих переменах. Борчевский признавал сомнения, одолевавшие общественность:

> О том, что сейчас творится у нас в России, можно говорить только с чувством смятения.
>
> Совершенно не представляя себе, что будет дальше, мы с жадностью ловим слухи и живем в мире тяжелых догадок и предположений.
>
> Эта напряженность политической атмосферы долго продолжаться не может.
>
> За последнее время, даже, можно сказать, за последние дни, – в России случилось слишком много такого, что заставляет нас трепетать от нервного ожидания будущего:
>
> – Что же дальше?! Чем же это все кончится?! А кончиться, разрешиться должно.
>
> И будет это в 1917 году.

Новый год «определенно ответит» на злободневные вопросы, хотя эти ответы не обязательно будут устраивать современников. Но неопределенность хуже, чем четко очерченные проблемы. Читатели подцензурной прессы были отлично знакомы с проблемами, о которых нельзя было говорить в открытую на страницах газет, особенно с непомерными страданиями, вызванными войной, экономическим кризисом и недееспособностью правительства. Но каков будет ответ?

> Много еще волнующего и беспокоящего мир откроет и разъяснит он [новый год].
>
> И станет всем легче.
>
> Вот это то счастье облегчения, счастье явной опасности или явного добра и ждет нас в 1917 году.[25]

Очевидных причин для того, чтобы ожидать этого, не существовало. Тем больше было оснований для надежды на чудо.

2

2 марта 1917 г. (по использовавшемуся в то время в России юлианскому календарю, на 13 дней отставшему от западноевропейского григорианского календаря) император Николай II отрекся от престола. Он сделал это под давлением со стороны генералов и других представителей элиты после того, как войска, которым было приказано покончить с демонстрациями в Петрограде, восстали и уличные беспорядки превратились в политическую революцию. Мало кто ожидал, что царская власть будет низвергнута, хотя ее авторитет с начала войны постепенно уменьшался. После отречения царя улицы заполнили ликующие толпы. Газеты пытались передать настроение масс:

[25] П. Борчевский. В 1917 году // *Ежедневная газета-копейка.* 1.01.1917. С. 1.

– Засияло солнце красное… Рассеялись гнилые туманы. Всколыхнулась Русь великая! Восстал народ многострадальный. Пало кошмарное иго. Свобода и счастье – впереди…

– Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!

Громом раскатистым гремит тысячеустный крик обрадованных людей, аплодирующих бравому оратору-студенту.

Из конца в конец несется возбужденный говор.

Лица всех напряженные, глаза блестящие, жесты смелые и вольные.

Любуются люди развевающимися высоко над головой красными флажками, смотрят по сторонам, собираются в большие толпы, делятся впечатлениями новыми, неожиданными.

Многие обнимаются, целуются, поздравляют друг друга и с жадностью набрасываются на разбрасываемые прокламации.

Читают громко, отрывисто, волнуясь и горячась.

Из уст в уста передается долгожданная радостная весть:

– Свобода! Свобода! Свобода…

Слезы у многих на глазах поблескивают.

Неудержимая буйная радость…[26]

И в стиле, и в содержании подобных репортажей с городских улиц мы ощущаем что-то вроде ощущения чуда, неожиданного нового начала, невероятного рождения новой жизни, но в то же время и чувство того, что эта опьяняюще-радостная «новая жизнь» может с той же легкостью исчезнуть без следа. Однако в тот момент казалось, что «свобода» обладает магической способностью преодолевать взаимно противоречивые идеи и настроения, включая неуверенность и страх. Эйфорическая аура «свободы» ощущалась повсюду. И это гиперболическое, эмоциональное и (что было очень удобно) смутное понимание свободы как «Великой радости», «священной» поры «Возрождения», обещания «Счастья» разделялось едва ли не всеми. Казалось, без заглавных букв и восклицательных знаков было не обойтись, чтобы дать понять, что это не обычные чувства и убеждения. Перед лицом военных катастроф и экономических и политических провалов тогда все казалось возможным и все были заодно. Но это продолжалось недолго.

3

Во время этой воображаемой прогулки, слушая, читая и расспрашивая людей о смысле «свободы», наряду с расплывчатыми и гиперболическими заявлениями о новой и счастливой эпохе мы не могли бы не заметить обилия солдат, нередко разъезжавших на автомобилях и восторженно стрелявших в воздух. Представьте себе следующую сцену в военном гарнизоне столицы (рис. l). Эти солдаты в стремлении увековечить роль, сыгранную ими в революции, позируют фотографу рядом со своим броневиком. Из больших жирных букв, написанных на его борту краской или мелом, складывается слово «СВОБОДА!». Эту революционную мизансцену можно прочесть в качестве интерпретации данного слова. Как минимум солдаты как будто бы заявляют претензию на роль в истории. Под башней видны контуры флажка с обозначением их части – «Броневое отделение» – и дата: 28 февраля 1917. 27 февраля стало решающим моментом революции в российской столице: именно тогда к демонстрантам, состоявшим главным образом из рабочих, присоединились восставшие солдаты гарнизона (тоже преимущественно из рабочих), после чего царское правительство лишилось власти на улицах – и в

[26] Солдаты идут…// *Ежедневная газета-копейка.* 6.03.1917. С. 3.

первую очередь возможности прибегать к насилию с тем, чтобы принудить противников к молчанию. Соответственно, именно 28-е число стало первым днем «свободы», и честь этого исторического свершения могли себе приписать солдаты. Кроме того, сцена на снимке указывает и на взаимоотношения между свободой и силой: свобода несла с собой не только лишение государства возможности прибегать к насилию для подавления беспорядков, но и угрозу нового насилия, направленного на защиту свободы, а также, возможно, достижение тех позитивных благ, которые обещала свобода.

РИС. 1. Солдаты позируют у броневика, 28.02.1917
(Российский государственный архив кинофотодокументов, Москва)

Воинственные позы солдат и демонстрация ими оружия как будто бы решительно заявляли, что свобода зависит от тех, кому принадлежит право насилия. Солдат у дверцы, с кинжалом на поясе, целится пистолетом в объектив. Бойцы на переднем плане, припавшие к земле под стволом пулемета, вооружены и готовы к бою. Эту сцену можно интерпретировать и как сюжет о мужчинах и мужественности. Хотя революцию начали женщины, отважно вышедшие на петроградские улицы в конце февраля, мотивом этого снимка служат храбрость и бдительность вооруженных мужчин. Но не все на нем настолько однозначно. В то время как один из бойцов, пристроившихся над словом «Свобода!», держит в руке пистолет и свирепо глядит на нас, другой выглядит расслабленным и слегка улыбается. А на стене гаража позади броневика написаны слова «Курить строго запрещено». Они попали в кадр чисто случайно, представляя собой просто деталь интерьера на оружейном складе. Но, может быть, не будет слишком

большой вольностью увидеть в них символ: примечание, указывающее на сохранение власти и правил среди горючих материалов, напоминание о необходимости поставить свободе какие-то пределы.

4

Все говорили о «весне свободы». Разумеется, метафора весны скрывает в себе возможность возвращения осени и зимы. Солдаты, позирующие на предыдущем снимке, как будто бы говорят: «Поэтому-то вам нужны мы и наше оружие». В середине марта в московской «Ежедневной газете-копейке» появилась передовица «Весна России», подписанная одной лишь буквой «Б.». «Первая весна России… – писал автор передовицы, стремившийся передавать витавшие в воздухе настроения рублеными, декларативными вступительными фразами, – Весна возрождения и обновления. Весна свободы». Эти фразы были типичными и узнаваемыми, так же как и содержавшиеся в них обращения к патетике и их форма, звучащая скорее как выстрелы на улице или как декламация стихов, чем как прозаический текст. Б. пытался передать ощущение свободы и другими выражениями, характерными для тех дней. Предпочтение отдавалось метафорам, так как обычные слова казались неподходящими.

> Длительная зима сурового произвола и насилия – побеждена…
>
> И не перспективы, как писали еще «вчера», открываются перед новой Россией, а реальные возможности, широкие горизонты…
>
> Великая русская революция, такая быстрая, такая необычайная, как кислород умирающему человеку, пришла для спасения русского народа тогда, когда «верхи» ее не ждали.
>
> Все революции приходят неожиданно. И тем грандиознее их приход.
>
> Они рождаются стихийно, налетают, как ураган, и вырывают свободу для истомленного народа…
>
> «Так было, так будет»…

Слова, – признавал автор, – заключают в себе силу среди этой освободительной бури. Свободе, вырванной у старого режима, не обойтись без свободы слова. А это означало не только формальное отсутствие цензуры или хотя бы одну лишь юридическую защиту свободы слова и свободы печати, но и радикальное изменение самого духа публичного языка:

> И старые, беззубые слова, и истрепанные, заезженные шаблоны, и вековой эзопов язык – исчезнувшие последние тени бесконечной русской – «1001 ночи»… [аллюзия на «азиатскую» политическую отсталость России и ее тиранический режим. – *Прим. авт.*\
>
> В судорогах и агонии, извиваясь и исчезая, они были разорваны первыми лучами солнца…

Но новое все еще было слишком слабым и хрупким, и потому свобода – особенно свобода слова – нуждалась в защите.

> Раскрыты эти кошмарные «кавычки», исчезли «навьи чары» российской действительности, разрушены несменявшиеся посты для слежки за скованным языком русской печати.
>
> Их нет… Пришла новая стража и сняла бюрократический караул.
>
> И эта стража уже стоит на посту новых завоеванных позиций.
>
> Она должна стоять, как верный часовой, встретивший зарю обновления, переживающий первую весну новой России.

Пусть только в виде намека, но в воздухе все же можно ощутить беспокойство. И с течением месяцев это беспокойство, как и предупреждения, будет становиться все более явным. Но в данный момент, – заключал автор, – гарантированы самые чудесные результаты, если освобожденные люди России проявят ответственность и бдительность:

> Приходит весна жизни…
>
> Весна грандиозного государственного строительства, коренных реформ и роста молодой России.
>
> И вы, встречающие первую весну в свободной стране, должны помнить, что от вас самих, от вашего умения, такта и организованности зависит всецело возможность встречать каждый год такую весну…
>
> Будьте на страже завоеванной свободы, и ослепительная жизнь вознаградит вас за это…[27]

5

Знакомясь с газетами первых дней революции, мы бы наверняка не прошли мимо «Известий», газеты Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов – органа выборных представителей и социалистических активистов, созданного одновременно с Временным правительством. «Известия» пытались играть роль рупора низших классов, «демократии». И мы почти наверняка обратили бы внимание на стихи, напечатанные почти в каждом номере и нередко принадлежавшие перу рабочих и солдат. Поэзия в те дни революции обладала особой притягательной силой, не в последнюю очередь для трудящихся, часть из которых обратились к поэзии, чтобы выразить свои чувства и мысли по поводу свободы и революции, и нередко посылали плоды своего творчества в газеты. Так, в последние дни марта в «Известия» пришло написанное аккуратным почерком стихотворение Степана Степанова, матроса 9-го флотского экипажа Балтийского флота:

Рассвело. Вставай, угнетенное племя,
Вставай, цепями скованный народ.
Под гнетом брошенное семя
Взошло и принесло обильный плод.

Разверни свои сильные плечи,
Кто возмутит твой кровью купленный путь?
И приспешники царственных тронов
Твой прогресс, твое знамя свободы – о нет,
не возьмут!

Посягнет кто на храм твой священный,
Кто посмеет его осквернить?
Нет, никто – ты герой, ты титаник великий,
Все и всё пред тобой замолчит.

Свобода и сила связаны здесь одно с другим, так же как к защите свободы «готов» броневик с надписью «Свобода!». И в то время как фундаментом недемократической и репрес-

[27] Б. Весна России *//Ежедневная газета-копейка.* 11.03.1917. С. 1.

сивной власти служат кровь и оковы, свободу защищает ее собственная грозная сила. Нам внушают, что свобода нуждается в храмах и пушках.

Матрос Степанов вместе со стихотворением послал в газету сопроводительную записку, в которой извиняется за малограмотность и за то, что он «совершенно незнаком с правилами стихосложения». Но он увязывает недостаточное образование с обстановкой в стране, возлагая вину на «проклятого деспота», который «с дней детства не давал мне научиться», а также на низкий уровень обучения в своей отсталой провинциальной школе. Его слова следует читать таким образом, что подобные последствия исторического неравенства и вызвали необходимость его стихов для революции. «А теперь великое, грозное время. Мы все должны энергично, не покладая рук работать. И так хочется быть полезным и чем-нибудь помочь делу великому, делу народному»[28]. Он полагал, что недостаток поэтического мастерства в его стихах компенсируется их честностью и правдивостью; более того, его извинения за незнание «правил» лишь усиливали ценность его слов как выражения истины. А весной 1917 г. считалось, что правдивые слова способны принести людям свободу.

6

Второй день апреля 1917 г. по православному календарю пришелся на пасхальное воскресенье. Поздравительные открытки были относительно новым изобретением. Следующие две открытки очень красноречивы в плане идей и настроений, владевших людьми в том году.

[28] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1244. Оп. 2. Д. 31. Л. 43–44 об.

РИС. 2. Открытка «Свобода России», Пасха 1917 г.
(Отдел эстампов Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург)[29]

[29] Кроме того, выражаю благодарность Борису Колоницкому и Элле Сагинадзе за помощь при поиске изобразительного материала и получении разрешений на воспроизведение рис. 2 и 3.

На рис. 2 петух, над которым помещено традиционное пасхальное приветствие «Христос воскресе», венчает собой зарю – слова «Свобода России», написанные на большом красном пасхальном яйце.

РИС. 3. Открытка «Да здравствует республика!», Пасха 1917 г.
(Отдел эстампов Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург)

На рис. 3, под тем же приветствием, на фоне восходящего солнца рабочий и солдат обмениваются рукопожатием солидарности над уже совсем огромным пасхальным яйцом с надпи-

сью: «Да здравствует республика!» Хотя это выражение смысла свободы путем сочетания светского и священного (а также природы и христианства) может вызвать у нас недоумение, такое отождествление воскресения Христова с возрождением России было абсолютно характерно для того времени.

7

Социальные активисты удивлялись роли, сыгранной в революции женщинами, в большинстве своем считая их политически отсталыми, неопытными и робкими. Большевистская газета «Правда» через неделю после революции превозносила женщин-работниц, первыми вышедших на уличные демонстрации в Женский день, призывавших мужчин к участию в забастовке и убеждавших солдат не стрелять в людей, заполонивших улицы. Но при этом в «Правде» умалчивалось о том, что большевистские активисты призывали женщин воздержаться от забастовки и проявить «выдержку и дисциплину», опасаясь того, что их действия окажутся «бесцельными». Даже в тот момент большевики усматривали корни отваги женщин в их традиционных заботах и настроениях: «боль за своих близких, отнятых у них войной, перемежалась с состраданием к своим голодным детям». Реальные причины женской активности носили более сложный характер. С рассказами о женщинах, в слезах моливших солдат не стрелять в «их матерей и сестер» и требовавших хлеба, чтобы накормить свои голодные семьи, соседствовали свидетельства о женщинах, наравне с мужчинами яростно набрасывавшихся на полицейских, врывавшихся в полицейские участки и сжигавших там архивы, громивших магазины[30].

При этом женщины не уходили с улиц. Во время наших воображаемых блужданий по улицам Петрограда в поисках смыслов мы наверняка бы наткнулись на состоявшееся 19 марта грандиозное женское шествие с требованием права голоса для женщин, организованное активистками феминистского движения, хотя многие работницы и крестьянки шли и под лозунгами с волновавшими их социальными и экономическими вопросами.

[30] Ruthchild, *Equality and Revolution*, 218-23; Choi Chatterjee, *Celebrating Women: Gender, Festival Culture, and Bolshevik Ideology* (Pittsburgh, PA, 2002), ch. 2.

РИС. 4. Женская демонстрация 19 марта 1917 г.
(Российский государственный архив кинофотодокументов, Москва)

На рис. 4 мы видим женщин – судя по их одежде, из рядов рабочего класса – под плакатом, предлагающим недвусмысленный комментарий к понятию «свобода»: «Если женщина раба, не будет и свободы. Да здравствует равноправная женщина». Рис. 5 воспроизводит снимок женщин-солдаток (солдатских жен), вышедших на демонстрацию под лозунгами: «Прибавку пайка семьям солдат, защитникам свободы и народного мира» и «Кормите детей защитников родины».

РИС. 5. Солдатские жены на женской демонстрации, 19 марта 1917 г.

("The Russian Revolution – Events and Personalities: An Album of Photographs. Collected by Bessie Beatty." Unpublished. The New York Public Library, p. 42 (снимок неверно датирован 9 апреля 1917 г.). Slavic and Baltic Division. The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations)

Права и потребности часто включались в определения свободы, особенно группами, почти лишенными прав и испытывавшими сильную нужду. Защитники равноправия в дальнейшем часто ссылались на участие женщин в Февральской революции, обосновывая этим необходимость пересмотра роли женщин в обществе. «В момент борьбы мы, женщины-работницы, были заодно с восставшими за свободу братьями-пролетариями! – напоминала в конце марта в «Правде» феминистка-большевик Александра Коллонтай и задавалась вопросом: – Почему же теперь, в момент, когда начинается строительство новой России, закрадывается этот страх, что свобода… может обойти половину населения освобожденной России?»[31] Непосредственным поводом для этой критики служили колебания Временного правительства и Совета, не спешившего признавать за женщинами право голоса. Но после того как в ответ на массовую демонстрацию 19 марта такое право было им даровано, женщины продолжали требовать того, чтобы им наравне с мужчинами были предоставлены прочие политические и гражданские права.

Если бы мы в начале марта оказались в Москве, то, возможно, попали бы на митинг, организованный 6 марта московским отделением Лиги равноправия женщин. В числе его участниц – представительницы трудящихся женщин и деятельницы женских организаций. На этом

[31] А. Коллонтай. Работницы и Учредительное собрание //*Правда.* 21.03.1917. С. 3.

митинге мы бы услышали определения «свободы», включавшие равную оплату женского труда; социальную защиту матерей и женщин, воспитывающих детей; отмену законов, разрешающих контролируемую проституцию, и прочих законов, касающихся только женщин и «унижающих человеческое достоинство женщины», назначение женщин на должности всех уровней в государственном аппарате, особенно те, которые связаны «с интересами женского населения», а также предоставление женщинам возможности работать юристами, в фабрично-заводских инспекциях и во всех сферах «общественной служебной деятельности». Как с негодованием и гневом утверждалось в резолюции, одобренной участниками митинга, отказ от принятия этих мер будет равносилен открытому заявлению о том, что «под свободными гражданами подразумевают лишь мужчин»[32].

8

Невзирая на активность женщин, до нас дошло удивительно мало женских голосов, особенно голосов женщин, не принадлежавших к элите. Во время работы в российских архивах, когда я изучал многочисленные толстые папки, набитые письмами, обращениями и даже объемными эссе, посылавшимися отдельными лицами и группами в адрес нового Временного правительства, Петроградского совета, выдающихся политических фигур и различных газет, мне попадались словесные излияния тысяч мужчин – включая огромное количество рабочих, крестьян и солдат, порой едва грамотных, но все равно писавших. И лишь единичные выступления женщин, причем особенно редкими были голоса женщин из рядов пролетариата и крестьянства. Разумеется, в истории молчание так же показательно, как и дошедшие до нас слова. Авторы, изучающие историю женщин, указывают, что скудость женских голосов в общественной сфере сама по себе красноречиво говорит о традициях неравенства и исключения женщин из общественной жизни, отличавшейся мужским доминированием.

Словно подчеркивая это молчание, мужчины иногда писали от имени женщин, давая им разъяснения в отношении «новой жизни», обещанной им революцией, и истинного смысла свободы. Изучая общественную жизнь тех месяцев и принесенный ими опыт, мы бы наверняка ознакомились с женским журналом «Работница», который в мае 2017 г. снова начали выпускать большевики. В его первом номере мы бы обнаружили следующее стихотворение, написанное солдатом-фронтовиком Е.Андреевым (автор не пытался скрыть свой пол) как бы от лица женщины, воспевающей свободу своему возлюбленному, которому она посылает весть о «заре жизни»:

При радостных криках, при криках народных
Кружится моя голова;
Теперь мы на воле, теперь мы свободны,
И женщинам дали права!

Могучая вера, огромная сила
Проснулась в груди молодой;
Давно мое сердце свободы просило
И жаждало жизни другой…

Мой милый, мой славный, пойми мое счастье

[32] Лига равноправия женщин *//Смоленский вестник.* 9.03.1917. С. 4. Выражаю благодарность Майклу Хики, предоставившему мне экземпляр этого текста, включенного им в собственном переводе в вышедший под его редакцией сборник: Michael C. Hickey (ed), *Competing Voices from the Russian Revolution: Fighting Words* (Santa Barbara, CA, 2011), 167-8.

И с лаской в глаза загляни,
Проснулись в груди моей бурные страсти,
В глазах загорелись огни[33].

В изображении этого солдата женский голос приобретает стереотипно эмоциональное и сентиментальное звучание. И женщины, составлявшие редколлегию «Работницы», с готовностью отобрали это стихотворение для первого номера газеты. Поддерживая борьбу женщин со все более смелыми требованиями политического равенства и политических прав, они в то же время тщательно соблюдали идеологическую установку своей партии, гласившую, что лишь классовое единство пролетариата мужского и женского пола, а вовсе не феминистский гендерный сепаратизм способно дать женщинам «свет и свободу», обещанные им революцией[34].

9

Во многих документах 1917 г. – служащих для нас окном в поток слов, в который бы мы окунулись на революционных улицах, – свобода понимается как явление положительное, активное и преобразующее жизнь. Популярный образ свободы как разбитых оков определялся в позитивном ключе, не в последней степени как избавление от физических страданий: рабочих больше не будут наказывать кулаком и розгой, бедняки больше не останутся голодными, граждан больше не будут посылать на войну, активистов за их речи больше не будут бросать в тюрьму или ссылать в Сибирь[35]. Но многие голоса, давая свое определение свободы, видели нечто большее, помимо разбитых оков. Большинство русских как будто бы полагало, что истинная свобода не может не быть силой, обеспечивающей перемены к лучшему. Согласно еще одному образу, популярному в 1917 г., за разбитыми оковами должен последовать рассвет. При этом речь шла о социальном рассвете. Свобода должна была не только освободить индивидуумов от наложенных на них ограничений, но и создать свободное сообщество «граждан», живущих в условиях справедливости. Либеральные политические философы издавна предостерегали от этого нелиберального стирания грани между «свободой и ее сестрами, равенством и братством». Согласно этой аргументации смешивать свободу, избавляющую индивидуума от внешних помех и позволяющую ему вести активную жизнь, посвященную стремлению к счастью, с той свободой, которая непосредственно насаждает счастье путем преобразования общества, является опасной ошибкой. Более того, – продолжают авторы этих аргументов, – личную свободу при этом путают с социальной свободой, а также с совершенно иной задачей (возможно, похвальной, но не входящей в определение свободы как таковой), заключающейся в гарантиях «признания» достоинства и значимости индивидуумов, отчуждаемых или угнетаемых вследствие их классовой, половой, расовой, этнической или религиозной принадлежности[36]. Иными словами, «свободу» не следует путать с правами и справедливостью. Но, разумеется, под знаком именно такого смешения воли с ее «сестрами» свобода понималась и воплощалась в жизнь в ходе современных революций, от Франции конца XVIII в. до нашей эпохи. Во время российской революционной весны многие рабочие, крестьяне и солдаты утверждали – особенно в письмах и обращениях в Петроградский совет, члены которого считались народными представителями, – что воля требует активного насаждения социаль-

[33] Солдат Е. Андреев. Мы вместе с тобою//Работница. 10.05.1917. С. 6.

[34] См.: П.Ф.Куделли. Памяти павших борцов//Работница. 10.05.1917. С. 2.

[35] Mark Steinberg, *Voices of Revolution*, 1917 (New Haven, 2001), passim.

[36] Berlin, “Two Concepts of Liberty,” 154–166. Более старым и не менее влиятельным аргументом служит выдвинутая Г. В. Ф. Гегелем концепция «признания» *(Anerkennung)*, развиваемая в его «Иенских лекциях» 1805–1806 гг. Речь идет о «признании» «личности», «бытия», «воли» и «существования» индивидуума в качестве элементарной человеческой потребности.

ного равенства и братства. В конкретном плане это означало не только обуздание «буржуазии», которая «не отдаст свободу, хотя бы им это жизни стоило»[37], но и решение самых злободневных проблем: обеспечения продовольствием, контроля над ценами, передачи всей земли тем, кто ее обрабатывает, повышения доступности образования[38]. Большинству представителей русского простого народа было трудно понять либеральное предупреждение о том, что «смешение воли с ее сестрами», равенством и братством, чревато не только неверными представлениями о свободе, но и крахом истинной свободы[39]. О какой свободе могла идти речь без признания всеобщих прав, без всеобщего процветания, всеобщей власти, всеобщего счастья?

И все же, как это часто происходит во время революций, никакая точка зрения не могла представлять взгляды всех людей, даже всех представителей одного класса. Многие россияне, принадлежавшие к низшим классам, признавали концепцию свободы как освобождения от всяких ограничений, хотя скорее в радикальном, чем в либеральном смысле. В конце марта некто А. Земсков, называвший себя «ничтожным рабочим», отправил министру юстиции Александру Керенскому – в те первые месяцы революции тот был единственным социалистом в правительстве – длинное и путаное письмо о «свободе», в котором излагал «ту истину, которую может чувствовать только рабочий человек, способный говорить чистую правду».

> С того момента, как с высоты трона слетел последний российский самодержец, вы со всех сторон слышите хвалебные гимны новому государственному строю и свободе. Новый строй рисуют в золотых красках, свободу воспевают под звон колоколов – вот звуки переживаемых революционных дней. Я, обличающий эту шумиху, – враг какого бы то ни было государственного строя, но свободу хотел бы прославить громче и торжественнее, чем вы, рабы грешной земли, если бы свобода явилась к нам откуда-нибудь. Но весь вопрос в том: свободу ли вы воспеваете? Не новые ли цепи под именем свободы вы прославляете? Да, факты переживаемой политической действительности так ясно говорят, что даже не нужно ссылаться на историю и взгляды очень многих буржуазных ученых, которые ранее имели неосторожность намеками выразить некоторую долю истины, чтобы безошибочно сказать, что свобода и государственный порядок – несовместимы… Русский рабочий, услыхав, что царя уже нет, глубоко и наивно верит, что настал час его освобождения, а почтенный Милюков [лидер либеральной Конституционно-демократической партии. —*Прим. авт.*] и подлая пресса еще 2 марта объявили, что «цепи с народа сняты». Но фактически свободы у нас не было ни одной секунды даже в самый разгар революции… раньше чем было снято старое самодержавное ярмо, в Таврическом дворце [совместной резиденции Временного правительства и Петроградского совета. – *Прим, авт*.] на скорую руку был сработан хомут, который с песнями и гимнами надели на народную шею, да и кричат на весь мир: «Свобода!!» А на самом деле это хомут… Вот насколько испорчено зрение у народа, что он не может различить две вещи: хомут и свободу!..

Порой Земсков впадает в философский тон, объясняя, почему эта новая свобода – «гнусная ложь»:

---

[37] ГАРФ. Ф. 6978. Оп.1. Д. 354. Л. 106.-2 (рукописное обращение в Петроградский совет от Матвея Фролова).

[38] См., например, резолюцию рабочих завода «Старый Парвиайнен» от 13.04.1917 в: Steinberg, *Voices of Revolution,* 95.

[39] Berlin, “Two Concepts of Liberty,” 154–170.

> всякая государственная власть (даже и в демократических государствах) основывается на насилии по отношению к своим подданным… там, где есть свобода, нет насилия, и там, где есть насилие, нет свободы.

Но в первую очередь он дает определение свободы, отталкиваясь от вопросов социальной власти – причем речь идет не об абстрактном контроле над средствами производства (марксистское определение класса), а о конкретных формах власти над самими телами бедноты:

> Лозунги времени: «Свобода!» «Долой насилие!» Но все лидеры нашего революционного движения, провозгласившие эти лозунги, проповедуют и энергично поддерживают жестокую воинскую дисциплину в войсках – эту самую грубую форму насилия… Во все горло кричат, что «цепи разрушены и настала свобода!» Но, черт возьми, какая это свобода, когда по-прежнему, как овец, ведут под пушки и пулеметы миллионы безгласных рабов и офицер так же, как и раньше, распоряжается этим рабом, как вещью, когда по-прежнему только грубым насилием удерживается многомиллионная армия серых рабов…

Земсков испытывает настолько сильные классовые чувства, что причисляет к угнетателям народа не только капиталистическую «буржуазию», заявляя, что это же верно и в отношении «всей… интеллигенции (в особенности социалистической интеллигенции)». Более того, он ощущает особое презрение к социалистам-интеллектуалам, утверждающим, что революция «руководствуется одной целью – желанием народу свободы, счастья и всякого блага»:

> И как это глупо верить этим словам. Да разве народ хочет, чтобы вы пеклись о нем, заботились и т. д.? Нет, народ хочет, чтобы вы слезли с его спины. Если вы хотите народу блага, счастья и проч., то слезьте с его могучей спины, на которой вы сидите и выжимаете из него соки, не живите его трудом, не жрите чужого… Ведь народ вами угнетен и он давно знает, что все вы сидите на его спине: и дворянин, и купец, и ученый, и поэт, и журналист, и поп, и юрист – все вы с хищнической жадностью расхищаете продукты его труда. Вот отчего народ страдает и вот где корень социального зла. Для народа нужно только, чтобы вы, паразиты, не сидели на его спине, а уж как он, освобожденный от вашего ига, будет управляться, заботиться – не ваше дело. Но, наверное, можно сказать, что создавать государство ему будет незачем… Прошу не окрестить меня именем анархиста: я не анархист – я свободный от предрассудков пролетарий[40].

10

В наших прогулках по революционному Петрограду нам наверняка захотелось бы нанести визит писателю Максиму Горькому. Скажем, мы могли бы отдохнуть в его квартире (он привечал у себя самых разных людей) и поинтересоваться его мнением о революции и смысле свободы. Горький, один из самых влиятельных представителей общественности в России, особенно грамотного простого люда и интеллектуалов левого толка, сам много бродил по свету в поисках сюжетов. Происходя из рядов провинциального среднего класса, в молодости он исходил Россию и перепробовал всевозможные занятия, побывав в том числе подмастерьем и мальчиком на посылках в иконописной мастерской, помощником повара на волжском пароходе, строительным рабочим, помощником продавца на базаре и газетным репортером. Познакомив-

[40] ГАРФ. Ф. 6978. Оп. 1. Д. 296. Л. 39-45об.

шись с членами нелегального студенческого кружка в Казани, он заинтересовался социалистическими идеями. Но в первую очередь он был крупным писателем – одним из самых популярных писателей в России того времени, причем особую известность ему принесли рассказы и пьесы о неприкаянных плебеях, ведущих бродячий образ жизни на дне общества. По взглядам он был близок к большевистской партии, которой нередко оказывал финансовую помощь, и к самому Ленину, хотя и не спешил формально вступать в ряды партии.

Весной 1917 г. Горький основал в Петрограде газету «Новая жизнь». Его личная редакторская колонка называлась «Несвоевременные мысли», так как Горький считал себя глашатаем неудобной правды, голосом совести в революционном лагере. Он часто с гордостью называл себя «везде еретиком»[41]. Первый номер газеты вышел 1 мая, в День международной солидарности трудящихся (18 апреля по российскому календарю). В первой передовице Горький обратился к своей излюбленной теме: взаимоотношениям между «революцией и культурой», между политическими переменами и интеллектуальной и нравственной жизнью общества и индивидуумов. Он полагал, что в основе этих взаимоотношений лежит свобода. Горького беспокоило опустошительное наследие самодержавия, бюрократии и насилия и особенно его последствия для человеческого духа. Кроме того, он предупреждал, что свержение монархии, сумевшей дать стране лишь отрицательную волю, неспособно духовно излечить русских людей и даже может еще глубже загнать болезнь «внутрь организма»[42]. Он продолжил эти размышления в своей второй колонке, утверждая, что для того, чтобы новая свобода стала подлинной свободой, необходимы грандиозные преобразования:

> Новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души.
>
> Разумеется, в два месяца не переродишься, однако чем скорее мы позаботимся очистить себя от пыли и грязи прошлого, тем крепче будет наше духовное здоровье, тем продуктивнее работа по созданию новых форм социального бытия.
>
> Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе борьбы за власть, эта борьба возбуждает рядом с хорошими чувствами темные инстинкты. Это – естественно, но это не может не грозить некоторым искривлением психики, искусственным развитием ее в одну сторону. Политика – почва, на которой быстро и обильно разрастается чертополох ядовитой вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолюбий, неуважения к личности…[43]

Опасения Горького подтвердились несколько дней спустя, 21 апреля, когда на Невском проспекте, в самом сердце Петрограда, произошел кровавый инцидент, в ходе которого три человека были убиты и еще несколько получили ранения из-за стрельбы, начатой неизвестным во время столкновения между демонстрантами и солдатами. Горький не столько стремился найти виновных в этом кровопролитии, сколько был озабочен ситуацией вседозволенности, угрожавшей подлинной свободе:

> Светлые крылья юной нашей свободы обрызганы невинной кровью…
>
> Преступно и гнусно убивать друг друга теперь, когда все мы имеем прекрасное право честно спорить, честно не соглашаться друг с другом. Те, кто думает иначе, неспособны чувствовать и сознавать себя свободными людьми. Убийство и насилие-аргументы деспотизма…

---

[41] М. Горький. О полемике *//Новая жизнь.* 25.04 (8.05).1917. С.1.

[42] М. Горький. Революция и культура *//Новая жизнь.* 18.04 (1.05).1917. С.1.

[43] М. Горький. Несвоевременные мысли // *Новая жизнь*. 20.04 (3.05).1917. С. 5.

> Великое счастье свободы не должно быть омрачаемо преступлениями против личности, иначе – мы убьем свободу своими же руками.
>
> Надо же понять, пора понять, что самый страшный враг свободы и права – внутри нас: это наша глупость, наша жестокость и весь тот хаос темных, анархических чувств, который воспитан в душе нашей бесстыдным гнетом монархии, ее циничной жестокостью.
>
> Способны ли мы понять это?
>
> Если не способны, если не можем отказаться от грубейших насилий над человеком – у нас нет свободы. Это просто слово, которое мы не в силах насытить должным содержанием[44].

К чему же сводится «должное содержание» «свободы»? Одного лишь устранения ограничений явно недостаточно. Свобода должна быть «насыщена» позитивными целями – в первую очередь преодолением морального и эмоционального ущерба, причиненного как жестоким прошлым, так и неустроенным настоящим. Горький помещает в центр этой идеи человека, «я», индивидуума в обществе – то, чему соответствует часто употреблявшееся им русское слово «личность». Это понятие еще с середины XIX в. стало для русских мыслителей ключевым словом, обозначающим существование и ценность внутреннего, но неизменно обладающего социальной природой *«я»:* первооснову всякого индивидуума, дающую начало равному и естественному чувству достоинства всех людей, а соответственно, и естественному всеобщему равноправию. Как таковое понятие личности превратилось в мерило для оценки – и осуждения – ущерба, вызываемого политическими и социальными условиями, ведущими к человеческой деградации, шла ли речь об экономической и политической отсталости России или об опыте стремительной индустриальной и городской модернизации[45].

Горький разделял убеждение в том, что свобода должна защищать и обогащать личность и что для этого требуется не только преодоление внешних ограничений, наложенных на индивидуума, но и создание социальных условий, которые бы позволили индивидууму процветать как самому по себе, так и в качестве члена общества. Такая свобода требует преобразования разума и души, «ликвидации» интеллектуальных и моральных следов несвободного прошлого. С течением времени эта идея могла привести к суровым последствиям: что касается лично Горького, она отчасти объясняла, почему он поддерживал сталинскую модернизацию-революцию сверху и изъявлял потребность в «инженерах человеческой души». Но сейчас, в 1917 г., Горький придерживался восходящего к XIX в. либерального убеждения в том, что истинная, или «настоящая», свобода требует «признания» «свободы других». Этим и объясняются отвращение и гнев, который вызывали у Горького случаи уличного насилия, представлявшие собой покушение на чужую свободу и права. Однако таким революционерам, как Горький, либеральные определения свободы все же казались слишком скромными и узкими: свобода не сводится к одному лишь признанию свободы других; свобода должна нести с собой позитивные изменения, «новую жизнь» для общества и для индивидуума, чудесное новое начало.

11

Ближе к концу той весны отправившись в Москву, мы постарались бы найти великого писателя-модерниста Андрея Белого и обнаружили бы, что он работает над серией эссе о рево-

---

[44] М. Горький. Об убийстве //*Новая жизнь.* 23.04 (6.05).1917. С.1.

[45] Подробнее об этом см.: В. В. Виноградов. *История слов.* М., 1994. С. 271–309; Derek Offord, “Lichnost’: Notions of Individual Identity,” in Catriona Kelly and David Shepherd (eds), *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881–1340* (Oxford, 1998), 13–25; Laura Engelstein and Stephanie Sandler (eds), *Self and Story in Russian History* (Ithaca, NY, 2000); Mark D. Steinberg, *Proletarian Imagination: Self Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925* (Ithaca, NY, 2002), 2–5, 62-101.

люции, опубликованных под конец того года под названием «Революция и культура» – тем же самым, которое избрал Горький для своей первой передовицы в газете «Новая жизнь». Белый, совсем недавно издавший блестящий роман «Петербург» (1916), воспринимал революцию как стихийную силу природы:

> Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция: предстает ураганом, сметающим формы… Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад; все в ней бьет «через край», все – чрезмерно[46].

Но это яростное сокрушение пределов можно сравнить и с рождением новой жизни:

> В механическом взгляде на жизнь революция – взрыв, обрывающий мертвую форму в бесформенный хаос; но ее выражение иное: скорее она есть давление силы ростка, разрыванье ростком семенной оболочки, пророст материнского оргазмнизма в таинственном акте рождения[47].

Словарь Белого (включая гендерно окрашенные образы разрушения и созидания) основывается на символистских теориях и мистической философии, но в то же время и на популярных образах революции как весны, разрушительных бурь, возрождения и новой жизни.

В каком-то смысле Белый дает ответ на обеспокоенность Горького тем, что свирепые эмоции и деяния являются угрозой для свободы:

> Акт революции двойственен; он – насильственен; он – свободен; он есть смерть старых форм; он – рождение новых; но эти два проявленья – две ветви единого корня… толчок революции – показатель того, что младенец взыграл во чреве. Революционные силы суть струи артезианских источников; сначала источник бьет грязью; и – косность земная взлетает сначала в струе; но струя очищается; революционное очищение – организация хаоса в гибкость движения новорождаемых форм.

Таким образом, не надо бояться хаоса и неопределенности, вызванных революцией:

> Первый миг революции – образованье паров, а второй – их сгущение в гибкую и текучую форму: то – облако; облако в движении есть все, что угодно: великан, город, башня; в нем господствует метаморфоза; на нем появляется краска; оно гласит громом; громовые гласы в немом и бесформенном паре есть чудо рождения жизни из недр революции[48].

Рождающаяся в итоге новая жизнь представляет собой ничто иное, как «царство свободы». Белый уделяет большое внимание этой идее, восходящей, разумеется, к иудео-христианскому пророчеству о пришествии мессианского «царства Божьего» или «царства свободы». Как мы уже видели, у Маркса и Энгельса эта идея преобразовалась в определение революции как «скачка из царства необходимости в царство свободы», скачка из существования, диктуемого материальными ограничениями, наложенными природой и историей, к радикально новой жизни, где человеческие поступки будут определяться желаниями и возможностями и люди впервые в истории смогут «вполне сознательно сами творить свою историю»[49]. Непосредственным источником вдохновения для Белого служил Лев Толстой, в своем памфлете 1894 года «Царство Божие внутри нас» утверждавший, что отнюдь не государственная или церковная

[46] А. Белый. Революция и культура. М., 1917. С.3.

[47] Там же. С. 12–13.

[48] Там же. С. 13–14.

[49] К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения.* Т. 20. М., 1961. С. 295.

власть, а одни лишь знания открывают путь к искуплению, к справедливому и подлинно свободному обществу[50].

Белый идет еще дальше. Он говорит о революционном прыжке в первую очередь применительно к сфере искусства, заявляя о необходимости вырваться «из необходимости творчества в страну свободы его». Он развивает мысль Толстого: «царство свободы – уже в нас! Оно будет вне нас!»[51] И это относится отнюдь не только к искусству:

> Первый акт творчества есть создание мира искусства; акт второй: созиданье себя по образу и подобию мира; но мир созданных форм не пускает творца в им созданное царство свободы; у порога его стоит страж: наше косное *«я»*… Акт третий: вступление в царство свободы и новая связь безусловно свободных людей для создания общины жизни по образу и подобию новых имен, в нас таинственно вписанных духом[52].

В отношении того, каким образом удастся войти в это «царство свободы», Белый расценивает марксистскую метафору скачка как слабую и ущербную:

> Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок не есть вовсе прыжок; он – паденье кометы на нас; но и это падение есть иллюзия зрения: отражение в небосводе происходящего в сердце[53].

Подобно комете Галлея, которая породила в России значительный общественный интерес (и страх), когда в 1910 г. приблизилась к Земле[54], этот образ революции как кометы может быть истолкован как аргумент о чудесной реальности, о невероятной, но подлинной реальности, скрывающейся за фактами нормальной, повседневной жизни. Однако, как объясняет Белый, этот будущий мир свободы, эта более правдивая, но чужеродная реальность – не внешняя сила, пришедшая из глубин космоса, а «образ наш внутри нас, как звезда; он – не видим; он дан в пучке блесков»[55]

---

[50] Л. Н. Толстой. *Царство Божие внутри нас.* Берлин, 1894.

[51] А. Белый. *Революция и культура.* С. 17.

[52] Там же. С. 24.

[53] Там же. С. 30.

[54] См., например: Весна. 1910. № 3. С. 23, и 1910. № 11. С. 86 (письмо Льва Толстого).

[55] А. Белый. *Революция и культура.* С. 29.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.